





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дневник лейтенанта Концова

Ни малейшего сомнения —
она авантюрьера.

Письмо Екатерины II

I

*Май 1775 — Атлантический океан,
фрегат «Северный Орел».*

● ● ● Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный Орел» за Гибралтаром. Он без руля, с частью оборванных парусов, уносится течением к юго-западу. Куда прибудем, что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из виденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи.

Боже-вседержитель! Дай памяти, умудри, облегчи болящую, истерзанную сомнениями душу...

Я — моряк, Павел Евстафьевич Концов, офицер флота ее величества, всероссийской императрицы Екатерины Второй, пять лет то-

му назад, божьим изволением, удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме.

Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильин и Клокачев, с четырьмя брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению.

И мне, смиренному, удалось в то время — прикрывая брандеры — в темноте, с корабля «Януария» лично бросить во врага первый каленый брандскутель. От брандскутеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных шестидесяти- и девяностопушечных вражьих кораблей, фрегатов, гальотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в оде на чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, неизвестному светом, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки:

Вручает слава ветвь, вручает ветвь лаврову
Кидающему смерть в турецкий флот Концову.

Оные стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Макензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генеральс-адъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, к графу Алексею Григорьевичу Орлову.

На службе мне везло, жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей.

Судьба отвернулась от меня, статься может, за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины.

Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду — французами, венецианами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый, неожиданный и тяжкий искус.

Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв, живя в удовольствии на покое, при флоте, говаривал:

— Я так счастлив, так, как будто взят, аки Енох, живой на небо.

Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко, с тех пор как некогда пособил Екатерине взойти на престол.

Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году.

Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес что надо на берег и переговорил. А на обратном пути, в море, нас приметили и помчалась за нами сторожевая турецкая кочерма.

Мы долго отстреливались. наших матросов убили: я, тяжело раненный в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул.

Во мне, хотя переодетом в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. «Ну, как дознаются, — думал я, — что их пленник тот самый лейтенант Концов, от брандсугеля которого зажегся и взлетел на воздух под Чесмой их главный адмиральский корабль? что станется тогда со мной?»



II

Я пробыл в плену около двух лет. Настал 1775 год.

Вначале меня держали взаперти, в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного замка, потом в цепях, при одной из трехсот стамбульских мечетей. Дошел ли туда, на самом деле, слух, что в числе пленных у них находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу.

Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере; хвалил мусульманские обычаи,

нравы, превозносил могущество и славу падишаха. Возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил, мулла исхлопотал мне лучшее помещение и продовольствие.

Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял, начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета, не пил, но усердно соблазнял меня и манил:

— Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут, смотри, сколько кораблей; поступишь на службу, будешь у нас капитаном-пашой...

Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого, рокового раздумья!

Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую Концовку. Я сиротой, в офицерском чине, прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власьевной и тоже Концовой. У бабушки, поблизости города Батурина, были богатые соседи по деревне, Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклиевич и его дочка Ирина Львовна.

То да се, езда в ракитинскую церковь, потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки, ну — молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы! Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавинофордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето. Дорогие, памятные дни! Одно из моих писем к Ирен, по несчастной случайности, попало в руки ее отца. Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и суров, уговорил ли ее отказаться от меня, променяв преданного и верного ей человека на иного... только горько, тяжело о том и вспомнить.

Была осень и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в раkitинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейный лакей подал бабушке, привезенный им от Раkitиных, запечатанный пакет. Сердце мое так и екнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ.

«Простите, мол, матушка Аграфена Власьевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин, всем хорош и пригож, — писал бригадир Раkitин, — но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями и желаем вашему крестнику и внуку найти сто крат лучшую и достойнее его».

Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу — пресекулось дорогое, чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники Разумовских, Раkitины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее их дворянина. Спесь и знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы, взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во фрейлины, в высший свет.

— Бог с ними! — твердил я как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки.

День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с раkitинскою усадьбою, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях. Поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения! Помню, мне казалось — стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне, мы уйдем на край света. Безумец, я надеялся ее видеть, с нею обменяться мыслями, наболевшим горем.

— Брось отца, брось его, — шептал я, взглядываясь в окна. — Он не жалеет, не любит тебя.

Но тщетно: окна были темны, и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой горенки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма, не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе какой вести. Посылал ей

тайно и письмо — ответа не было. В одну ночь я даже решил убить себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет.

«Нет, — решил я тогда, — зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю, может быть, и впрямь нашелся счастливый соперник».

После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Оку, где некоторое время ее держал под строгим присмотром.



III

Бабушку не менее меня сразило мое положение. Она, спустя неделю, призвала меня и объявила:

— Твой риваль¹ тобою угадан; это дальний родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала стороной, Павлинька, его нарочито выписали, он у них гостил во время твоих исканий и помог им уехать без следа. Забудь, мон анж², Ирену: она, очевидно, в батюшку — гордичка; утешись, даст Бог, с другою!

Я сам был обидчив и горяч. «Бабушка права, — мыслил я, решаясь все бросить и забыть. — Если бы Ирен была с сердцем, онашла бы случай написать мне хотя бы строку».

Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирен и ей не отданный гимн из «Ифигении», новой и тогда еще не игранной оперы Глюка. Я со слезами сжег его.

После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся.

Графена Власьева в тот же год, без меня, простудилась, говевя в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле.

Покинув Концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ в семейство графов Орловых, потом в Петербурге, все

¹ Риваль (от *фр.* rival) — соперник.

² Мой ангел (*фр.*).

допытываясь о родичах Ракитина, живших за Окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Ирен, — никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился; я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать, предпринять?

Вести с юга, из-за моря, между тем наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегии морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию к графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя, некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в Специи, под Наварином и Чесмой.

— Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что? — твердил я. — Боже! когда бы скорей конец жизни!

Но смерть не приходила; вместо того я был схвачен и, после славной Чесмы, попал в долговременный плен в Стамбул.

Навещавший меня мулла становился все ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его, для компании, отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной — и сам для этого пил; мой учитель, делать нечего, в угоду мне, стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, о России и иных делах.

Однажды — это было еще в половине лета 1774 года, в то время, когда муэzzин с вышки звал к вечерней молитве народ, — мой наставник таинственно и не без злорадства спросил меня, знаю ли я, что в Италии проявилась нежданная и опасная соперница царствующей нашей императрице Екатерине, могучая претендентка на российский престол?

Я был удивлен и некоторое время молчал. Мулла повторил сказанное. На мой вопрос, кто эта претендентка, он ответил:

— Тайная дочь покойной императрицы Елисаветы Петровны.

— Это вздор, — вскричал я, — бессмысленная сплетня ваших базаров!

Мулла обиделся, его глаза сверкали.

— Не сплетни, читай! — сказал он, вынув из-под халата истертый листок утрехтской газеты. — Лучше подумай, что ждет твою родину?

Сердце мое, преданное великой, правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что мулла был прав: сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции действительно объявилась некая, называвшая себя *«всероссийской княжной Елисаветой»*. Претендентка, по слухам, собиралась в ту пору к султану, искать защиты своих прав в его армии, воевавшей с нами на Дунае. Мулла посидел и вышел, поглядывая на меня.

Узнанные вести сильно опечалили меня.

«Как? — рассуждал я. — Судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачева, о котором я слышал в плену, туркам являлась еще и эта помощь! Тот разорил, сжег и обездолил Поволжье, эта собирается пустить огонь и смуту с юга!»

Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по тюрьме, я стал у окна, схватился за его решетку и, потрясая ее, готов был грызть железо.

— Крылья мне, крылья! — молил я Бога. — Улететь бы к родному флоту, предупредить верного государыне графа Орлова, все ему передать...

И совершилось по моей мольбе в те дни чудо. Не забыть мне во-век испытанного.

Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить как-нибудь ключ, чтобы отомкнуть тяжелые цепи. Обточив о дно глиняного кувшина вырванный из стены полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилил о камень задуманный ключ. Радость моя, когда в первую же ночь я отомкнул, снял цепи и заснул без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было: освободившись быстро от цепей, убить ими ренегата-муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений.

Господь, правящий сердцами, избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне, по-прежнему попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно, по его же ходатайству. Время наступило.

Выбрав вечер, я решился сказать мулле, что внял его мудрым наставлениям и что готов перейти в ислам. Он пришел в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хиосским, что совсем охмелел и начал дремать.

Я не переставал его потчевать.

— Нет, — повторял он, — не могу, не пропустить бы молитвы; заметят, донесут...

Я ему еще налил. Он, лукаво щурясь и грозя, опорожнил еще кружку, скоро зашатался, прилег и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать, не слышит, снял с него туфли, расписанный халат и чалму, оделся в них — он лежал как убитый.

Мы были с ним почти одного роста; борода в заточении у меня отросла большая, как и у него, была только светлее.

«Боже! Неужели? — думал я в радостном содрогании. — Неужели свобода?»

Надвинув на глаза огромную белую чалму и набожно склоняясь, я тихо, с четками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы, сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечети, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили.

Шум улицы меня смутил, я было растерялся, но оправился. Не спеша добрел я до берега, махнул перевозчику, сел в первую подплывшую шлюпку и, еще более склоняясь, молча указал на один из близстоявших, давно мною из окна намеченных, иностранных кораблей.

То была готовая к отплытию одна из торговых французских шкун. Я узнал ее по флагу.



IV

Бравый, смуглый красавец француз, командир шкуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, к коей он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил:

— Не Концов ли вы?

— Почему вы так думаете? — спросил я в тревоге.

— О, я бы желал, — ответил он, — чтобы это было так. Храброго Концова мы все жалели и справлялись о нем... Я был бы счастлив, если бы мог ему служить.

Делать нечего, я решился назвать себя. Капитан очень обрадовался. Он свел меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой и дал знак готовиться к поднятию якоря и парусов. Ночью шкуна двинулась. Ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика спустили обратно где-то на пути.

Мулла, очевидно, долго спал. Погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок — платье муллы, в котором я бежал, поневоле должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль.

От капитана шкуны я, между прочим, по пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции, а у турецких берегов, в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть. Я просил высадить меня там. Французы отговаривали меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок; я настаивал на своем.

Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данной мне ссуде, я с трепетом ступил на берег Рагузской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе.

Таинственная княжна уже владела умами всего города. Толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ ее многочисленной свиты. Эти господа сперва меня дичились, смотрели недоверчиво; но, узнав, кто я, и предуведомленные, что, радуясь своему спасению, я немедленно направлюсь к эскадре графа Орлова, они охотно и без стеснений стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у нее аудиенцию.

— Но кто же она и где до сих пор проживала? — спросил я свитских княжны.

— Она родная дочь вашей покойной императрицы Елисаветы от ее тайного брака с графом Разумовским, — отвечали мне, — в детстве была увезена к границам Персии, потом под чужими именами проживала в Киле, Берлине, Лондоне и в других городах. В Париже именовалась принцессой Азовской, *dame d'Azow*, в Германии и здесь, в Рагузе, именуется принцессой Пиннеберг. Сообразите, ведь это ваша царица Елисавета Вторая — кровь великого Петра... Немецкие и иные принцы сватались за нее; французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всякую поддержку.

Смутили меня эти вести.

«Киль, Берлин! — думал я. — Киль — в Голштинии; он играл такую роль в судьбе дочерей великого Петра: бывшей там замужем Анны и Елисаветы, выписавшей себе оттуда наследника, Петра Третьего. Неужели в Петербурге этому не придают значения? и что у нас предпримут, если дознаются о такой претендентке?»

Поляки меня повели к графине Пиннеберг.

Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудрился, припомадился, завился. Меня радушно встретили в доме графини. Ее гофмаршал, барон Корф, ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Я оглянулся: просторная комната была обита голубым штофом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я опомниться, раздалися шаги и веселый сдержанный говор.

В приемную вошла княжна Елисавета, окруженная нарядною свитой. После я узнал, что это были: знаменитый в то время ее близкий друг князь Радзивилл, прозванием «пане-коханку», в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами, рядом с ним — его сестра, красавица графиня Моравская, и княгиня Сангушко; за ними — в пунцовом с золотом кунтуше граф Потоцкий — глава сплотившейся против нас польской конфедерации; поодаль — надменный и богатый староста Пинский, граф Пржездецкий, возле него — влиятельный из молодежи-конфедератов, рубака и дуэлист Чарномский и несколько известных радзивилловских офицеров. Потоцкий и Пржездецкий были в лентах и звездах.

Княжна, как я приметил, была одета в тафтяном палевом с золотом платье, род амазонки, с флеровой поверх нее выкладкой, в белой круглой шляпе, с черными страусовыми перьями, в розовой

мантилье, отделанной по краям блондами¹, с крошечными, в дорожной оправе, пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом.

Польские гордые магнаты говорили княжне «ваше высочество», а когда она садилась, перед ней стояли и на ее вопросы отвечали, так низко пригибаясь, будто становились на колени.

Не скрою, меня поразил вид княжны. Я увидел перед собою в полном смысле обворожительную красавицу — лет двадцати трех-четырёх, роста выше среднего, статную, из себя стройную, сухощавую, с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у нее были карие, открытые и большие, а один слегка, чуть заметно, косил, что придавало ее оживленному лицу особое, лукавое выражение. Но что главное, я в детстве и в возрасте хорошо насмотрелся на портреты покойной императрицы Елисаветы Петровны и, взглянув теперь на княжну, нашел, что она с покойницей значительно схожа.

Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по-французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке и, кончив церемонный, по этикету, прием, взглядом отпустила свою свиту, а мне указала стул. Мы остались наедине.

V



После некоторого обмена мыслей — мы говорили по-французски, причем у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания — оба мы в понятном смущении замолчали.

— Вы русский офицер, моряк? — спросила меня княжна.

— Так точно, ваша... ваша светлость, — ответил я, не зная, как был должен ее именовать.

— Мне известно, вы отличились, ваше имя прогремело при Чесме, — продолжала она. — Вы, наконец, так долго страдали в плену.

Я, смешавшись, молчал, она тоже.

¹ Старинные шелковые кружева с желтоватым отливом, blonde (фр.).

— Послушайте, — проговорила она с чувством, и до сих пор я слышу этот нежный, обаятельный, грудной голос, — я русская княжна, дочь вашей когда-то любимой императрицы: не правда ли, мою мать, дочь великого Петра, так любили? Я, по крови и по завещанию, ее единственная наследница.

— Но у нас ныне царствует, — решился я возразить, — не менее всеми любимая монархиня — великая Екатерина.

— Знаю, знаю! — перебила княжна. — Могуча и чтима народом ваша нынешняя государыня, и не мне, слабой, всеми брошенной, оторванной от царского дома и от родины, вступать с нею в спор. Я первая преданная ей раба.

— Чего же вы ищете, ждете? — спросил я удивленно.

— Защиты и уважения моих прав.

— Простите, — возразил я, — но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права.

— Вам доказательств? Вот они, — произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой, обделанный серебром и черепахой баул. — Это завещание моего деда Петра Первого, а это духовная моей матери — Елисаветы.

Княжна развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел.

— Но это копии, притом в переводе, — сказал я.

— О, будьте спокойны, подлинники в верных руках... Не могу же я возить с собою такие документы, рисковать! Мало вам этого — взгляните, — проговорила, полуоборотясь, принцесса.

Она указала на простенок над софой. На голубом штофе обоев, против окна, у которого мы стояли, висели два больших, в круглых рамах, портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государыню Елисавету Петровну с небольшою короною на голове; другой — стоявшую против меня княжну.

— Не правда ли, схожи? — спросила она, взглядываясь в меня.

— Сходство есть, это правда, — ответил я. — Я это заметил, едва вошел и вас увидел; позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет?

— В этом году, в Венеции... Знаменитый Пьячетти снимал портрет моего жениха — князя Радзивилла, при этом упросили сняться и меня.

— Дивные события! — произнес я в невольном смущении. — Является невообразимое, встают из гроба мертвецы: за Волгой — давно въяве похороненный император Петр Третий, здесь — никем нежданная и не гаданная дочь государыни Елисаветы.

— Не смешивайте меня с Пугачевым, — возразила, слегка покраснев, княжна, — хотя он и выдает себя за императора, чеканя монеты с надписью: «Redivivus et ultor» — воскресший мститель, — но он пока... лишь мой в том крае наместник.

— Как? — удивился я. — Так и вы подтверждаете, что он самозванец?

— Не спрашивайте, кто он, — загадочно ответила княжна, — после узнаете обо всем... еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города: Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге. Его прошлого не знаю. Бог ему судия... Но я действительно дочь императрицы Елисаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра Третьего.

— Кто же ваш отец? — решился я спросить.

Княжна помолчала, нахмурилась.

— Неужели не знаете? Граф Алексей Разумовский, впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах; оно темно и для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для того денег и возили меня с места на место, из страны в страну. Это, очевидно, знает граф Шувалов... Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись.

— Как! Вы видели графа Шувалова? Где? — изумился я, вспомнив, что некоторые, по слухам, и его считали ее отцом.

— Это было на водах в Спа... Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике; я не могла отказать. Вошел в комнату полный, еще замечательно красивый, богато, со вкусом одетый пожилой человек. Он явился под вымышленным именем; говоря со мной, грустно глядывался в черты моего лица, в мои движения и был, очевидно, внутренне взволнован. После уже я узнала, что это бывший фаворит покойной моей матери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущен — не знаю.